

© 1995 г. В.М. АЛПАТОВ

**КНИГА "МАРКСИЗМ И ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА"
И ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

Как известно, книги имеют свою судьбу. Судьба книги, впервые изданной в Ленинграде в начале 1929 г. В.Н. Волошиновым под названием "Марксизм и философия языка" (далее – МФЯ), оказалась особенно сложной во многих отношениях. Поначалу она вызвала явный интерес, что отразилось, в частности, в ее переиздании уже в следующем 1930 году. Однако отклики на нее в основном были резко отрицательными. Появившись на грани двух эпох развития советского языкознания: плодотворных и сравнительно спокойных 20-х гг. и крайне неблагоприятных для развития свободной мысли 30-х гг., книга скоро стала объектом типичной для первой половины 30-х гг. разносторонней критики с разных сторон. В одном и том же 1932 г. правоверный маррист Ф.П. Филин относил В.Н. Волошинова вместе с "близкой" к нему группой "Языкофронт" к "маскирующейся индоевропейской лингвистике, приспособляющейся к условиям реконструктивного периода", по отношению к которой необходимо проявить "особую бдительность" ([ПБКЯ 1932], предисловие к этой книге не подписано, авторство устанавливается по [Филин 1978]), а идейный лидер враждебного марризму "Языкофронта" Т.П. Ломтев заявлял, что такие, как Волошинов, буржуазными теориями о нейтральности языка "прикрывают собой действительную суть языка как боевого оружия класса" [Ломтев 1932]. Затем о книге просто забыли на несколько десятилетий (хотя В.Н. Волошинов, вопреки распространенному мнению, не был репрессирован и умер в Ленинграде в 1936 г.). Новая известность пришла к ней не у нас, а на Западе, прежде всего благодаря Р. Якобсону, усилиями которого книга была переведена в 60-е гг. на английский язык. Затем началось "триумфальное шествие" книги за рубежом; по данным В.Л. Махлина, она "к настоящему времени доступна зарубежному читателю в переводах на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, японский, корейский, сербохорватский и др. иностранные языки" [Махлин 1993: 176]. Кажется, ни одна из советских лингвистических работ не имела столь счастливую судьбу в этом отношении.

У нас же о книге стали постепенно вспоминать, но несколько странным образом. Хотя книга называется "Марксизм и философия языка", но не только в 30-е гг., но и позже она не вызывала ни интереса, ни понимания у тех языковедов, которые считали себя представителями "марксистского подхода" к проблемам языка. Наибольший же интерес она вызывала у тех интеллигентов, которые даже не просто работали вне рамок марксизма, а относились к марксизму любого рода (сначала тайно, затем открыто) резко негативно, возлагая на него ответственность за "тоталитарное зло". Другой парадокс. Книга посвящена проблемам языка, но интересовались ей (во многом в связи с проблемой ее авторства) больше философы, культурологи, литературоведы и в наименьшей степени "чистые" лингвисты [кроме отчасти социолингвистов). В целом же лингвисты и в 70–80-е гг. ее либо по-прежнему игнорировали, либо относили к научной классике, которую "хвалят, не читая". В библиотеке Института востоковедения РАН уже много лет находится экземпляр первого издания книги с неразрезанными страницами. Показательно и то, что при многих изданиях за рубежом у нас книгу вплоть до 1993 г. не переиздавали.

Еще одна сложность судьбы книги связана с проблемой ее авторства. Если и критики МФЯ 30-х гг., и издатели первого ее перевода считали ее автором В.Н. Волошинова, то с 60-х гг. стала распространяться версия об участии в ее создании М.М. Бахтина, основанная прежде всего на свидетельствах самого М.М. Бахтина в последние годы жизни. А поскольку имя М.М. Бахтина стало исключительно популярным и у нас, и за рубежом, тогда как В.Н. Волошинов был абсолютно забыт, то постепенно книга стала считаться коллективной, а затем и просто сочинением М.М. Бахтина (как и другая вышедшая под именем В.Н. Волошинова книга "Фрейдизм"). Последняя точка зрения, кажется, окончательно победила в наши дни. В каталоге РГБ [б. библиотека им. Ленина) после карточек с публикациями В.Н. Волошинова вставлена карточка с указанием того, что под этим именем "Публиковал свои работы М.М. Бахтин".

Данная концепция последовательно проведена и в последнем, третьем издании книги в нашей стране (далее ссылки на это издание МФЯ непосредственно в тексте с указанием страниц). Книга издана в издательстве "Лабиринт" в Москве как третий выпуск серии "Бахтин под маской" (в той же серии уже вышла книга "Фрейдизм", дается также анонс книги "Бахтин: маски и лица", куда в частности войдут и статьи В.Н. Волошинова; очевидно, по мнению издателей серии, Волошинов вообще ничего в своей жизни сам не писал). На обложке издания нет не только фамилии Волошинова, но даже названия книги: бросается в глаза лишь выделенное крупным шрифтом "Бахтин" (без инициалов), остальное пространство занято текстом, не имеющим прямого отношения к публикуемой работе. В комментариях В.Л. Махлина вопрос о единоличном авторстве М.М. Бахтина рассматривается как нечто уже известное и несомненное.

Между тем все имеющиеся свидетельства, в том числе самого М.М. Бахтина, говорят лишь об одном: участии М.М. Бахтина в выработке концепции книги и в написании ряда ее разделов. Как видно из найденного недавно Н.А. Паньковым отчета В.В. Волошинова о работе над книгой за 1927–1928 гг., ее написание проходило ряд этапов и трудно сказать, как распределялась работа двух авторов на каждом из них. Из дошедших до нас свидетельств М.М. Бахтина (рано умерший В.Н. Волошинов, кажется, ничего об этом не успел сообщить) самое важное содержится в уже опубликованном письме В.В. Кожинуву от 10.01.1961 [ЛУ 1992], где определенно речь идет о двойном авторстве, но Бахтин берет на себя создание "концепции языка и речевого произведения". За неимением других данных из этого и следует исходить. Правоммерно сопоставлять идеи книги с другими работами М.М. Бахтина (что впрочем труднее всего сделать в отношении лингвистического аспекта книги, поскольку у этого автора больше нет ни одной работы, специально посвященной лингвистике, и встречаются лишь отдельные попутные замечания в разных сочинениях), но нет оснований включать ее без оговорок в списки его трудов. Тем более неправомерно выбрасывать из истории нашей науки имя В.Н. Волошинова.

Причины неупоминания имени М.М. Бахтина в книге (не только в качестве соавтора, но и в тексте книги) убедительно не смогли объяснить ни он сам, ни его комментаторы¹. Но сама ситуация в истории лингвистики не уникальна. Самый известный пример такого рода – знаменитый "Курс общей лингвистики" Ф. де Соссюра (кстати, подробно анализируемый в МФЯ). Сейчас уже хорошо известно, что прославившая имя ее автора книга далеко не аутентична лежащему в ее основе курсу лекций Ф. де Соссюра. Как пишет А.А. Холодович, "не боясь вступить в конфликт с истиной, мы могли бы констатировать, что эта книга вышла спустя пять лет после смерти Ф. де Соссюра², но мы не решились бы утверждать, что она вышла спустя пять лет после смерти ее автора" [Соссюр 1977: 9]. Коллеги ученого по Женевскому университету и

¹ Расхожая версия о том, что причиной этого послужил арест Бахтина в конце декабря 1928 г., когда книга была, очевидно, в типографии, не имеет оснований: во-первых, еще в 1927 г. аналогичным образом вышла книга В.Н. Волошинова "Фрейдизм"; во-вторых, упомянутый отчет Волошинова, включающий в себя многие теоретические положения книги, также написан до ареста Бахтина.

² Ошибка А.А. Холодовича: на самом деле через три года.

последователи его идей Ш. Балли и А. Сеше после смерти Соссюра на основании сохранившихся у студентов конспектов его лекций подготовили к печати книгу, где, как впоследствии выяснилось, фрагменты прочитанных в разное время курсов совсем по-иному скомпонованы, многое сильно изменено, а кое-что и написано заново; анализ этих изменений см. [Соссюр 1977: 17–21]. Таким образом, авторов у "Курса" по сути три, причем если соссюровскую часть можно еще на основании анализа студенческих конспектов отделить от несоссюровской, то разграничить роль Ш. Балли и роль А. Сеше в написании последней вообще невозможно. Кстати, если бы книга была издана под тремя фамилиями, то скорее всего имя Ф. де Соссюра не стало бы так знаменито: кроме "Курса" у него была лишь одна изданная за 37 лет до него и уже забытая книга (вновь она привлекла к себе внимание исключительно благодаря "Курсу"), а Ш. Балли и А. Сеше до "Курса" и особенно после него опубликовали немало известных трудов³. Но издатели "Курса" скромно отошли в тень в память о старшем коллеге. И мировая слава досталась посмертно ученому за книгу, хотя и включившую в себя многие его идеи, но не написанную им самим. С книгой МФЯ ситуация оказалась обратной: если значение "Курса" превосходит значение других трудов его авторов, то МФЯ все-таки не столь популярна, как литературоведческие труды М.М. Бахтина, и на ее судьбе сказалась мифологизация личности этого ученого.

Еще один пример несколько иного рода, но близкий к МФЯ по времени издания. Годом позже МФЯ появилась грамматика японского языка [Плетнер, Поливанов 1930], подписанная двумя авторами. Авторство в книге не разграничено, но давно известно на основании свидетельства Н.И. Конрада, какие разделы писал каждый из авторов. Однако по крайней мере в части, написанной, как считается, О.В. Плетнером, ситуация не так проста: там есть и изложение идей Е.Д. Поливанова, и просто раскавыченные цитаты из его работ, но также и расхождения с поливановской частью грамматики (например, по вопросу о служебных словах). Поскольку по многим вопросам японского языка оба автора более никогда не высказывались, доказать авторство в ряде случаев невозможно. Но так как Е.Д. Поливанов широко известен у нас, а его соавтор совсем забыт, то не раз любые идеи книги постоянно приписываются Поливанову, примерно так же, как идеи МФЯ Бахтину.

Но проблема авторства все же не главная. Как и в случае "Курса" Ф. де Соссюра, книга МФЯ существует в том виде, в котором она была издана в 1929 г., и должна рассматриваться как цельное сочинение. Надо выявить идеи книги и ее место в мировой науке о языке.

Необходимо отметить, что приписывание книги М.М. Бахтину помогло известности книги и ее переводу на многие языки, но в чем-то сослужило ей и плохую службу. Как мы уже говорили выше, она стала восприниматься как в первую очередь философско-методологическая, а не лингвистическая (по крайней мере, у нас). Особенно это заметно в последние годы, когда количество публикаций о М.М. Бахтине резко возросло. Лингвистические аспекты МФЯ рассматриваются лишь в немногих публикациях (см., например [Киклевич 1993]). Ярко проявилась господствующая тенденция в комментариях В.Л. Махлина к новому изданию МФЯ. Их автор проявляет большую философскую эрудицию, подробно обсуждает вопрос о том, какое место занимала книга в философском контексте эпохи, сопоставляет ее с различными работами М.М. Бахтина, но почти полностью игнорирует собственно лингвистическую проблематику книги. Игнорирование такого рода иногда просто приводит к искажению смысла книги⁴.

³ В раннем варианте МФЯ, упомянутом выше отчете В.Н. Волошинова, именно Ш. Балли рассматривается как ведущий представитель современной лингвистики, а Ф. де Соссюр упомянут лишь мимоходом.

⁴ Дважды, на стр. 67 и 68, комментатор приводимые в первых изданиях МФЯ по-французски цитаты из "Курса" Ф. де Соссюра заменяет русским переводом А.М. Сухотина по последнему изданию 1977 г., не замечая, что перевод некоторых терминов у А.М. Сухотина и в МФЯ различен, в частности, термином "речь" переводятся разные термины Соссюра. Не прокомментирована даже явная ошибка МФЯ: в книге неоднократно говорится о двух работах "Р. Шора", хотя речь идет о Розалии Осиповне Шор.

Нам бы хотелось прежде всего рассмотреть именно лингвистическую сторону книги, прежде всего сосредоточенную в ее второй (из трех) части, сопоставить ее идеи как с предшествующей ей наукой о языке, так и с последующим развитием лингвистики.

Первая из этих двух задач ставится непосредственно в самой книге, вторая часть которой имеет во многом историографический характер: в ней дается анализ методологии основных лингвистических направлений XIX и начала XX в. Первая глава второй части имеет целиком историографический характер, две последующие дают критический анализ описанных в первой главе идей и лишь последняя из четырех глав, самая короткая, не имеет прямой связи с историческим очерком лингвистики. Позитивные идеи даются в МФЯ в значительной степени как результат полемики с предшественниками.

В книге дается краткая история основных лингвистических направлений в европейской и отечественной науке, выделяются основные направления. Само выделение этих направлений достаточно оригинально.

Можно сопоставить подход МФЯ с подходами других лингвистов той же эпохи. В качестве двух довольно типичных примеров приведем две работы несколько более позднего времени: статьи датского лингвиста В. Брёндаля [AL 1939] и чешского лингвиста В. Матезиуса [Mathesius 1939], включенные в русских переводах в известную хрестоматию [Звегинцев 1960]. Точки зрения обоих авторов достаточно типичны для науки того времени, когда уже было осознано значение новых, структуралистских идей, введенных в науку после появления "Курса общей лингвистики" Ф. де Соссюра.

В. Брёндаль противопоставляет новую, структурную лингвистику прежней, позитивистской, рассматриваемой как единое целое. Два направления, как показано В. Брёндалем, четко различаются по своим методологическим основам и несовместимы друг с другом. Под позитивистской лингвистикой в первую очередь понимается "сравнительная грамматика – детище XIX века" [Звегинцев 1960: 40], в основном в ее более позднем, младограмматическом виде, поскольку именно от младограмматизма отталкивались основатели структурализма.

В. Матезиус в отличие от В. Брёндаля разграничивает и в науке XIX в. два направления и "две различные теоретические и методические точки зрения" [Звегинцев 1960: 87]. "Одним из таких взглядов был исторический и генетический" (там же), идущий от Ф. Боппа через А. Шлейхера к младограмматикам, составляющим "высший этап в развитии этого направления" (там же). Второе, "аналитическое" направление В. Матезиус связывал с именами В. Гумбольдта и его последователей – Г. Штейнталя и Ф.Н. Финка. Главной особенностью подхода В. Гумбольдта, по мнению В. Матезиуса, было то, что "его целью было стремление углубить общие принципы лингвистического исследования. Именно поэтому он мало интересовался историческим развитием языка, а сравнивал различные языки с чисто аналитической точки зрения, не обращая внимания на их генетическое родство" [Звегинцев 1960: 88–89]. Данное направление именно на основе вышеуказанных черт В. Матезиус признавал более близким к современной лингвистике, чем "историческое и генетическое" языкознание. Однако "идеи аналитического направления могли бы стать плодотворными в развитии языкознания, если бы их авторы смогли ясно и чисто лингвистическим способом сформулировать последние и на базе их создать точные исследовательские приемы. Этого не случилось" [Звегинцев 1960: 89]. Науке XIX в. противопоставляется современная лингвистика в целом, ее основателем, в отличие от В. Брёндаля, В. Матезиус наряду с Ф. де Соссюром считал и И.А. Бодуэна де Куртене.

Отметим еще два общих свойства подходов В. Брёндаля и В. Матезиуса. Оба считают началом научной лингвистики начало XIX в., игнорируя все, что существовало до этого. Оба считают, что современная лингвистика, сформированная Соссюром, до начала XX в. не существовала.

Концепция МФЯ, имея некоторые черты сходства с описанными выше, по сути принципиально другая. Здесь выделяется два основных направления в истории науки

о языке, именуемые "индивидуалистическим субъективизмом" и "абстрактным объективизмом" (с. 53). Основателем первого направления признается В. Гумбольдт и в целом по своим рамкам оно близко к "аналитическому" направлению у В. Матезиуса. Однако если для В. Матезиуса это направление уже в прошлом, то МФЯ доводит его до современности, вполне правомерно причисляя к нему К. Фосслера и его школу, в частности, Л. Шпитцера, а также Б. Кроче. Конечно, надо учитывать, что В. Матезиус проводил свой анализ в более поздний по сравнению с временем написания МФЯ период, когда победа структурализма в западноевропейской лингвистике была более явной. "Абстрактный объективизм" прежде всего связывается с Ф. де Соссюром и его последователями Ш. Балли и А. Сеше (из их отечественных приверженцев названы Р.О. Шор и В.В. Виноградов); в числе лингвистов, укладывающихся в рамки "абстрактного объективизма", упомянут и И.А. Бодуэн де Куртене.

Пока все в целом имеет сходство с идеями В. Брёндаля и особенно В. Матезиуса. Однако в МФЯ вообще не выделяется то направление лингвистики XIX в., которое не только два упомянутых автора, но и большинство других считали основным. "Такое крупное явление лингвистики второй половины XIX века, каким было движение младограмматиков", имеет, как и ряд других, "по отношению к двум разобранным направлениям, смешанный или компромиссный характер" (с. 69). Показано, в чем взгляды младограмматиков сближаются с первым и со вторым из главных направлений. Кроме того, "абстрактный объективизм" вовсе не считается порождением XX в. Его истоки МФЯ находит "у Лейбница в его концепции универсальной грамматики" (с. 64), отмечается также, что "идеи абстрактного объективизма" рождены "на французской почве" (с. 65); по-видимому, имеются в виду грамматика Пор-Рояля и другие универсальные грамматики, хотя ни одна из них не упоминается в книге.

Но различие не только и не столько в самой классификации направлений. Главные причины их различий видятся в МФЯ не там, где их искало большинство лингвистов структурного направления. Вопрос о разграничении синхронии и диахронии, преимущественный интерес к истории или же к синхронному исследованию – все это, согласно МФЯ, лишь следствие более глубинных методологических различий.

Различия двух направлений даны в книге суммарно в виде противопоставления по четырем главным пунктам. "Индивидуалистический субъективизм" исходит, согласно МФЯ, из следующих "основоположений":

"1) язык есть деятельность, непрерывный творческий процесс созидания..., осуществляемый индивидуальными речевыми актами;

2) законы языкового творчества суть индивидуально-психологические законы;

3) творчество языка – осмысленное творчество, аналогичное художественному;

4) язык как готовый продукт..., как устойчивая система языка (словарь, грамматика, фонетика) является как бы омертвевшим отложением, застывшей лавой языкового творчества, абстрактно конструируемым лингвистикой в целях практического научения языку как готовому орудию" (с. 53–54).

А вот так формулируются противопоставленные им "основоположения" "абстрактного объективизма":

"1) Язык есть устойчивая неизменная система нормативно тождественных языковых форм, преднаходимая индивидуальным сознанием и непререкаемая для него.

2) Законы языка суть специфические лингвистические законы связи между языковыми знаками внутри данной замкнутой языковой системы. Эти законы объективны по отношению ко всякому субъективному сознанию.

3) Специфические языковые связи не имеют ничего общего с идеологическими ценностями (художественными, познавательными и иными). Никакие идеологические мотивы не обосновывают явления языка. Между словом и его значением нет ни естественной и понятной сознанию, ни художественной связи.

4) Индивидуальные акты говорения являются, с точки зрения языка, лишь случайными преломлениями и вариациями или просто искажениями нормативно тождественных форм; но именно эти акты индивидуального говорения объясняют истори-

ческую изменчивость языковых форм, которая как таковая с точки зрения системы языка, иррациональна и бессмысленна. Между системой языка и его историей нет ни связи, ни общности мотивов. Они чужды друг другу" (с. 63–64).

Конечно, любое суммарно-тезисное перечисление основных черт многообразного научного направления всегда огрубляет реальную ситуацию. Вряд ли, например, кто-то из структуралистов понимал язык как "неизменную систему" (и даже в формулировке МФЯ пункт 4 фактически противоречит этому утверждению). И.Ф. де Соссюр и многие его последователи, конечно, должны были как-то объяснять неоспоримый факт изменчивости языка. Однако верно отмечено, что "неизменность системы" – некоторый идеал или по крайней мере удобное допущение для "абстрактного объективизма", а совмещение такого подхода с необходимостью ответа на вопрос, почему же язык все-таки изменяется, требует явного усложнения теории с введением "антиномий" и пр. Не разграничены в данных формулировках две, вообще говоря, разные вещи: принципиальное отрицание некоторого явления и отказ от его рассмотрения. Например, мало кто из структуралистов буквально говорил, что экстралингвистические (идеологические, по терминологии МФЯ) мотивы "не обосновывают явления языка". Речь шла обычно о другом: такое обоснование в принципе существует, но его изучение не входит в задачи лингвиста, этим занимаются антропологи, литературоведы и пр. (ср., например, позицию даже такого крайнего структуралиста, как З. Хэррис [Harris 1960]).

Не всегда разграничиваются общие свойства направлений в целом и индивидуальные положения тех или иных школ. Например, установление параллелей между языковым и художественным творчеством – скорее специфическая особенность школы К. Фосслера⁵. С другой стороны, положение о том, что "между системой языка и его историей нет ни связи, ни общности мотивов", вошло в историю лингвистики как особая точка зрения Ф. де Соссюра, не поддержанная большинством его последователей. Впрочем, последняя ситуация могла еще не быть ясна к 1928 г.

Но при всех оговорках, как нам представляется, данная классификация действительно отразила многие существенные свойства лингвистических теорий XIX в. и начала XX в. Впрочем, в эту схему в целом укладываются и рациональные грамматики типа грамматики Пор-Рояля, которые еще более последовательно, чем, скажем, Ф. де Соссюр, исходили из того, что "язык есть устойчивая неизменная система нормативно тождественных языковых форм, преднаходимая индивидуальным сознанием и непререкаемая для него"⁶. Младограмматики при таком подходе закономерно оцениваются как эклектики, совмещающие индивидуально-психологический подход со стремлением "построить незыблемые естественно-научные законы языка, совершенно изъятые из какого бы то ни было индивидуального произвола говорящих"⁷. Позиция "наблюдателя со стороны", не причисляющего себя ни к одному из разбираемых направлений, позволила увидеть то, что не замечали структуралисты, которым важнее всего было отграничить свою точку зрения от позиции наиболее авторитетных предшественников – младограмматиков.

Все перечисляемые в МФЯ различия двух направлений прежде всего сводятся к

⁵ Вообще книге свойственна переоценка значения школы К. Фосслера, в отличие от соссюрианства довольно скоро сошедшей на нет (еще больше такая переоценка заметна в отчете В.Н. Волошинова). Эта школа явно повлияла на авторов МФЯ, возможно, в связи с их интересом к проблеме роли языка в художественном творчестве.

⁶ Рациональные грамматики с XIX в. и до 60-х гг. XX в. имели плохую репутацию, и структуралисты просто игнорировали их наследие.

⁷ Впрочем, индивидуальный психологизм скорее следует считать не чертой "индивидуалистического субъективизма", а общим свойством лингвистической и, шире, общенаучной парадигмы второй половины XIX в. Вряд ли можно говорить о психологизме как определяющем свойстве учения В. Гумбольдта первичен у него "дух народа", понятие, утраченное наукой в процессе перехода от классической философии к позитивизму. У последователей В. Гумбольдта "дух народа" сменился индивидуальной психикой. С этой оговоркой младограмматики, как и А. Шлейхер, скорее сближаются с "абстрактным объективизмом".

неоднократно упоминаемому в книге разграничению В. Гумбольдта: *ergon* – *energeia*, то есть к различию деятельностного, динамического и системно-статичного подходов. Такой взгляд на развитие науки о языке был достаточно специфичен. Ср. уже упомянутую статью В. Матезиуса, где данное разграничение В. Гумбольдта упоминается, но явно не считается основополагающим: "Мысль о том, что анализировать язык означает анализировать деятельность (*energeia*), а не результат деятельности (*ergon*), хотя и помогла ему понять значение функции в языке, но вместе с тем принуждала его слишком высоко оценивать психологическую точку зрения" [Звегинцев 1960: 89]. Отметим здесь понятие "функции", к которому мы еще вернемся, но видно, что для В. Матезиуса значение В. Гумбольдта заключается не столько в деятельностном подходе к языку, сколько в первых попытках сравнения языков вне генетического родства.

Различия двух подходов к языку в МФЯ проецируются в прошлое, выделяются исторические причины, способствовавшие формированию каждого из них. При этом напрашивается вывод, прямо не формулируемый в МФЯ, но вытекающий из производимого анализа: именно "абстрактный объективизм" исторически первичен. Дело даже не в том, что Г. Лейбниц жил раньше В. Гумбольдта. Важно то, что именно такой подход развивался в связи с двумя задачами, формирующими лингвистическую традицию: толкованием текстов и обучением языку.

О возникновении европейской и других лингвистических традиций в МФЯ говорится так: "Филологизм является неизбежной чертой всей европейской лингвистики, обусловленной историческими судьбами ее рождения и развития. Как бы далеко в глубь времен мы ни уходили, проследивая историю лингвистических категорий и методов, мы всюду встречаем филологов. Филологами были не только александрийцы, филологами были и римляне, и греки (Аристотель – типичный филолог); филологами были индусы. Мы можем прямо сказать: лингвистика появляется там и тогда, где и когда появились филологические потребности. Филологическая потребность родила лингвистику, качая ее колыбель и оставила свою филологическую свирель в ее пеленах" (с. 78).

Современный уровень изучения лингвистических традиций требует корректировки этих слов. Поскольку филологический подход к языку требует как достаточно большого числа уже существующих текстов, так и сознания определенных различий между языком этих текстов и обиходным языком, то филология у любого народа не может возникнуть очень рано; лингвистическая же традиция часто формируется много раньше. Лишь наиболее поздно появившиеся традиции вроде японской выросли из филологии. Не ставили перед собой филологических задач ни Панини (уже потом его грамматика стала объектом комментирования), ни Сибавейхи. Даже александрийцы строили грамматики не для филологических целей; это видно уже из того, что объектом грамматик был не язык Гомера, а койне, в ту пору вполне живой язык. Однако верно, что европейская традиция позже, в средние века и во многом в более позднее время, развивалась в силу "филологической потребности".

Из сказанного выше делается вывод: "Руководимая филологической потребностью, лингвистика исходила из законченного монологического высказывания – древнего памятника – как из последней реальности. В работе над таким мертвым монологическим высказыванием или, вернее, рядом таких высказываний, объединенных для нее только общностью языка, лингвистика вырабатывала свои методы и категории" (с. 79).

Далее делается важное уточнение: "Мертвый язык, изучаемый лингвистом, конечно, – чужой для него язык" (с. 80). И далее речь идет о другой, вообще говоря, отличной от филологической, задаче, послужившей формированию лингвистики: "Рожденное в процессе исследовательского овладения мертвым чужим языком, лингвистическое мышление служило еще и иной, уже не исследовательской, а преподавательской цели: не разгадывать язык, а научать разгаданному языку... Эта вторая основная задача лингвистики – создать аппарат, необходимый для изучения разгаданного языка, так сказать, кодифицировать его в направлении к целям школьной

передачи – наложила свой существенный отпечаток на лингвистическое мышление. Фонетика, грамматика, словарь – эти три раздела системы языка, три организующих центра лингвистических категорий – сложились в русле указанных двух задач лингвистики – эвристической и педагогической" (с. 80–81).

Вряд ли верно, что лингвистическое мышление рождалось только при решении первой из указанных задач. Нельзя также ставить как бы знак равенства между понятиями "мертвый язык" и "чужой язык": всякий мертвый язык – чужой, но обратное неверно. Далеко не все традиции вырабатывались на основе изучения мертвых языков, но заслуживает внимания идея МФЯ о том, что для формирования традиций нужно изучение чужих языков⁸: "Поразительная черта: от глубочайшей древности и до сегодняшнего дня философия слова и лингвистическое мышление зиждутся на специфическом ощущении чужого, иноязычного слова и на тех задачах, которые ставит именно чужое слово сознанию – разгадать и научить разгаданному" (с. 81)⁹.

Казалось бы, история европейской традиции противоречит этим словам: вся греческая наука единственным объектом изучения считала свой греческий язык и игнорировала языки "варваров"; к тому же, как уже говорилось, изучался вполне обиходный язык, "свой" во всех отношениях. Однако показательно, что греческая наука за несколько веков своего существования не разработала сколько-нибудь развитый лингвистический аппарат в тот период, когда по-гречески говорили только греки (можно говорить лишь о самом начале такой разработки у Аристотеля). И лишь в Александрии, где для значительной части населения греческий язык койне был самым престижным и в то же время "чужим", такой аппарат появился. Стимулом для создания александрийских грамматик, вероятно, послужили именно педагогические, а не филологические потребности. Ср. похожую ситуацию в арабской традиции, где за поразительно короткое время сложилась очень разработанная методика описания языка. И произошло это как раз тогда, когда встала задача обучения неарабского населения Халифата языку Корана (тогда еще не очень отличавшемуся от разговорного). Характерно, что центрами развития науки о языке стали не исконно арабские земли, а Басра и Куфа, находившиеся на грани арабского и персидского мира.

Переоценивая роль мертвых языков, МФЯ имплицитно отражает другую, на наш взгляд, более важную черту европейской лингвистической традиции и выросшей из нее лингвистики: ориентацию на текст как на исконную данность. Двусмысленность термина "текст", конечно, не случайна и отражает те традиции, о которых говорится в МФЯ. Однако филологизм ко времени написания МФЯ уже достаточно успешно преодолевался, но в то же время более широкое понимание текста (письменный, устный, нормализованный, диалектный и т.д.) не меняло общей картины. Как уже неоднократно отмечалось, во всей европейской лингвистике, существовавшей к 1928 г., анализ преобладал над синтезом, моделировалась позиция слушающего, а не говорящего. Некоторой попыткой преодоления такого подхода была гумбольдтовская традиция, но скорее в общетеоретических построениях, чем в подходе к конкретному материалу. Вполне аналитическим такой подход оставался и у школы К. Фосслера, да и в МФЯ, там, где речь заходит об изучении несобственной прямой речи. Исключительная ориентация на анализ естественно связана с пониманием объекта исследования в виде *egon*. Синтетический подход к языку нашел отражение, как известно, в индийской традиции, но замечание об "индусах-филологах" показывает, что авторы МФЯ не имели о ней четкого представления.

Важно и еще одно высказывание МФЯ: "Лингвистика изучает живой язык так, как если бы он был мертвым, и родной – так, как если бы он был чужим" (с. 84). См. также неоднократное употребление термина "объективизм", приписывание данному

⁸ Такое изучение нельзя понимать в смысле сравнительного подхода к языку, как раз чуждого большинству традиций.

⁹ Ср. перекличку идей о "чужом слове" в этом месте книги с изучением проблемы "чужого слова" в художественном тексте в ее последней части, а также в литературоведческих работах М.М. Бахтина.

направлению "представления о языке как о готовой вещи" (с. 84) и т.д. Здесь всему направлению, согласно МФЯ, свойственно представление о языке как о чём-то внешнем по отношению к его исследователю, позиция носителя языка отделена от позиции лингвиста.

Думается, что такое мнение верно, и то не до конца, лишь в отношении сосюррианской лингвистики, но не в отношении ее предшественников. Позиция традиционной науки о языке всегда была двойственной. С одной стороны, исходным материалом были тексты, т.е. нечто отделенное от исследователя (даже если он сам эти тексты сконструировал). С другой стороны, анализ этих текстов предполагал использование собственной лингвистической интуиции, то есть психолингвистических представлений, как правило, неосознанных. Происходило как бы вживание исследователя в изучаемый текст, а позиция исследователя зависела от позиции носителя языка (ср. интересные соображения на этот счет у японского лингвиста Токиэда Мотоки [Токиэда Мотоки 1983]). Хотя действительно для формирования лингвистических традиций важную роль играли чужие языки, требовавшие обучения, но традиция могла развиваться лишь тогда, когда эти языки становились своими. Латынь для средневекового европейца, койне для александрийского египтянина, арабский для перса Халифата не были материнскими языками, но были своими и с точки зрения культуры, и с точки зрения освоенности. Членение текста на звуки, на слова, классификация слов, выделение парадигм и пр. не были результатом "разгадывания языка", дешифровки, как это предполагается в МФЯ; они были моделями психолингвистического механизма носителя языка. До начала XX в. господствовал подход, который можно назвать "антропоцентрическим", используя термин А. Вежбицкой. Психологические направления в лингвистике пытались как-то эксплицировать эти представления, но не слишком удачно, что вызвало в первой половине XX в. всеобщую критику психологизма в лингвистике вообще, свойственную и МФЯ.

Двойственность исходных положений традиционной лингвистики, а также невозможность экспликации лингвистической интуиции и затруднительность антропоцентрического подхода к языкам, по строю отличным от "своих языков" исследователей, привели к началу XX в. (не без влияния общей научной парадигмы того времени) к попыткам выработать иной, более последовательный, эксплицитный и проверяемый подход к языку, который можно было бы назвать "системоцентрическим" (подробнее см. [Алпатов 1993]). Именно эти попытки, нашедшие отражение в структурализме, анализирует МФЯ, говоря об "абстрактном объективизме". Подход к языку как *egop* нашел здесь законченное выражение, хотя ни одному структуралисту не удалось совсем избавиться от антропоцентризма, по крайней мере, на практике.

Другое направление, "индивидуалистический субъективизм", по мнению МФЯ, появилось лишь в начале XIX в. Его формирование правомерно связывается с романтизмом. "Романтизм в значительной степени был реакцией на чужое слово и на обусловленные им категории мышления. Ближайшим образом романтизм был реакцией на последний рецидив культурной власти чужого слова – на эпоху Возрождения и неоклассицизм. Романтики были первыми филологами родного языка, первыми, пытавшимися радикально перестроить лингвистическое мышление на основе переживания родного языка как *medium'a* становления сознания и мысли. Правда, романтики все же оставались филологами в точном смысле этого слова" (с. 91). Отмечается "измельчание" направления от В. Гумбольдта к Х. Штейнталу и В. Вундту, уменьшение "размаха", но возраσταση "систематичности" (с. 55). Наконец, "в настоящее время первое направление философии языка, сбросив с себя путы позитивизма, снова достигло могучего расцвета и широты в понимании своих задач в школе Фосслера" (с. 55).

Оба подхода в книге подвергаются критике, однако явно симпатии авторов больше склоняются к "индивидуалистическому субъективизму", особенно к школе К. Фосслера (в отчете В.Н. Волошинова эта школа прямо ставится на первое место в теоретической лингвистике современности). Много говорится о специфических недостат-

ках "абстрактного объективизма", недостатки же "индивидуалистического объективизма" по сути оказываются общими для обоих направлений; нет ни одного параметра, по которому бы "абстрактный объективизм" был, по мнению МФЯ, более прав, чем другое направление.

Критика "абстрактного объективизма" в книге начинается с отрицания одного из постулатов структурализма – объективности существования языка¹⁰ (ср. появившуюся в СССР четверть века спустя книгу [Смирницкий 1954], где автор пытался обосновать прямо противоположную точку зрения). В МФЯ сказано: "С действительно объективной точки зрения, пытающейся взглянуть на язык совершенно независимо от того, как он является данному языковому индивиду в данный момент, язык представляется непрерывным потоком становления. Для стоящей над языком объективной точки зрения – нет реального момента, в разрезе которого она могла бы построить синхроническую систему языка" (с. 71–72). "Синхроническая система языка существует лишь с точки зрения субъективного сознания говорящего индивида, принадлежащего к данной языковой группе в любой момент исторического времени" (с. 72). Точка зрения об объективном существовании языка вне субъективного сознания говорящих названа в МФЯ "гипостазирующим абстрактным объективизмом" (с. 73); отмечено, что так считают не все "объективисты": такие лингвисты, как, например, А. Мейе, "дают себе отчет в абстрактном и условном характере языковой системы" (с. 73).

Признавая если не объективную, то хотя бы субъективную реальность языковой системы, МФЯ в то же время подчеркивает: "Субъективное сознание говорящего работает с языком вовсе не как с системой нормативно тождественных форм. Такая система является лишь абстракцией, полученной с громадным трудом, с определенной познавательной и практической установкой. Система языка – продукт рефлексии над языком, совершаемой вовсе не сознанием самого говорящего на данном языке и вовсе не в целях самого непосредственного говорения" (с. 73–74). Здесь мы видим противоречие с высказанным чуть выше положением о существовании этой системы "с точки зрения субъективного сознания говорящего индивида".

Далее подчеркивается, что система языка вовсе не важна ни для говорящего, ни для слушающего. На самом деле "языковое сознание говорящего и слушающего-понимающего, таким образом, практически в живой речевой работе имеет дело вовсе не с абстрактной системой нормативно-тождественных форм языка, а с языком-речью, в смысле совокупности возможных контекстов употребления данной языковой формы. Слово противостоит говорящему на родном языке – не как слово словаря, а как слово разнообразнейших высказываний языкового сочлена А, сочлена В, сочлена С и т.д., и как слово многообразнейших собственных высказываний. Нужна особая, специфическая установка, чтобы прийти отсюда к себестождественному слову лексикологической системы данного языка – к слову словаря" (с. 76). А главное, "мы, в действительности, никогда не произносим слова и не слышим слова, а слышим истину или ложь, доброе или злое, важное или неважное, приятное или неприятное и т.д. Нормально, критерий правильности поглощен чисто идеологическим критерием: правильность высказывания поглощается истинностью данного высказывания или его ложностью, его поэтичностью или пошлостью и т.п. Язык в процессе его практического осуществления неотделим от своего идеологического или жизненного наполнения" (с. 77).

Итак, языковая система "слагается из элементов, абстрактно выделенных из реальных единиц речевого потока – высказываний" (с. 77) (отметим, что в МФЯ термин Ф. де Соссюра, который мы сейчас привыкли переводить как "речь", переводится как "высказывание"). Для чего же нужна такая абстракция? По мнению МФЯ, в основе ее выделения "лежит практическая и теоретическая установка на изучение мерт-

¹⁰ Впрочем, этот постулат был несколько позднее отвергнут некоторыми направлениями структурализма. Л. Ельмслев в своем предельно абстрактном подходе к языку дошел до понимания языка как игры, обязанной лишь удовлетворять принципам непротиворечивости, полноты и простоты. См. также подход к языку как "фокусу-покусу" у некоторых американских лингвистов.

вых чужих языков, сохранившихся в письменных памятниках" (с. 78). И вслед за этим в книге идет уже нами упоминавшаяся исторически не вполне точная концепция о филологическом происхождении "абстрактного объективизма".

Данная точка зрения критикуется за многое: за неучет реальных процессов говорения и слушания, за вырывание языковых явлений из реального контекста, единственно важного для носителей языка, за неспособность оперировать более чем рамками отдельного предложения ("построение же целого высказывания лингвистика предоставляет ведению других дисциплин – риторике и поэтике" (с. 86)), за отрыв языковой системы от процесса ее становления, за общий неисторизм подхода и т.д. При отсутствии в книге терминов "семантика" или подобных ему не раз подчеркивается особое внимание "абстрактного объективизма" к языковой форме, особенно звуковой, при неспособности изучать "идеологическое наполнение" языка; по сути, если использовать более привычные для нас термины, речь идет об игнорировании семантики в традиционной и структурной лингвистике.

Общая оценка "абстрактного объективизма" крайне негативна: "проблема реальной данности языковых явлений как специфического и единого объекта изучения, им разрешена неправильно. Язык как система нормативно тождественных форм является абстракцией, могущей быть теоретически и практически оправданной лишь с точки зрения расшифровывания чужого мертвого языка и научения ему. Основую для понимания и объяснения языковых фактов в их жизни и становлении – эта система быть не может. Наоборот, она уводит нас прочь от живой становящейся реальности языка и его социальных функций" (с. 89–90).

Безусловно, мы имеем здесь дело с одной из наиболее серьезных и интересных (и первых исторически) попыток полемики с соссорианством в дохомскианской лингвистике. В этом ряду можно отметить высказывания неогумбольдтианцев в Германии, Токиэда Мотоки в Японии, А.Ф. Лосева и В.И. Абаева в нашей стране. В то же время вполне правомерно многие идеи "абстрактного объективизма" рассматривать, как это и делается в МФЯ, не как особенности соссорианства или даже структурализма в целом, а как гораздо более широкое явление. Любое выделение парадигм склонения или спряжения, начатое в европейской традиции александрийцами, безусловно, связано с имплицитными представлениями о норме и о языковой системе. Структурализм лишь эксплицировал и уточнил эти представления.

Безусловно, в чем-то, как это часто бывает, в МФЯ взгляды оппонентов упрощаются и унифицируются. Многие проблемы, игнорируемые данным подходом, по мнению МФЯ, так или иначе рассматривались и лингвистами, принимавшими соссорианские постулаты (вспомним учение об актуализации у Ш. Балли, функциональный подход у пражцев). Разрыв между синхронией и диахронией также признавался не всеми. Но в целом надо сказать, что едва ли не все претензии, предъявляемые в МФЯ "абстрактному объективизму", в той или иной степени справедливы. Хорошо известно, что в рамках структурализма (как, впрочем, и предшествовавших ему направлений) не удалось создать ни полноценной семантики, ни лингвистики речи, ни разработанной социолингвистической теории, ни методов анализа текста, ни многого другого.

Тем не менее следует ли из этого, что "абстрактный объективизм" сплошь ошибочен и если к чему-то и пригоден, то только к препарированию "мертвых чужих языков"? Думается, что это не так. В концепцию МФЯ не укладывается уже тот факт, что одним из толчков к активной разработке данного подхода, часто доведенного при этом до крайности (как это произошло в дескриптивизме), послужила задача описания бесписьменных, в частности, индейских языков. Тем более непонятно с этой точки зрения, почему "объективизм" широко используется при обучении не только чужому, но и родному языку¹¹.

¹¹ Впрочем, и в МФЯ сказано, что хотя в обычных условиях "критерий языковой правильности поглощен чисто идеологическим критерием", но именно при обучении языку к высказыванию применяется нами критерий правильности, единственный значимый для "абстрактного объективизма" (с. 77).

Можно согласиться с тем, что говорящий и слушающий в большинстве ситуаций не замечают язык как таковой, а думают лишь о передаваемом с помощью языка содержании (хотя не всегда это так: о языке вспоминают при помехах любого рода в коммуникации, при явном отклонении от нормы, а также при выполнении языком такой особой функции, как поэтическая). Верно и то, что языковая система в том ее виде, который отражен в словарях и грамматиках, представляет собой "продукт рефлексии над языком". Но из этого не следует, что язык – искусственно выделяемая абстракция.

Выше мы отмечали противоречие в МФЯ: языковая система рассматривается то как нечто существующее "с точки зрения субъективного содержания говорящего индивида", то как "продукт рефлексии, совершаемой вовсе не сознанием говорящего". Оба высказывания, на наш взгляд, можно принять, но одним и тем же термином здесь названы разные явления. С одной стороны, носитель языка имеет некоторые, обычно автоматические и (по крайней мере, до конца) не осознаваемые представления о своем языковом механизме (то, что принято назвать "языковой интуицией"). С другой стороны, в результате "рефлексии над языком" происходит моделирование этих представлений, закрепляемое в описаниях языка. Языковая система в последнем смысле не просто извлекается из текстов (попытка такого извлечения в чистом виде – дешифровочный подход у крайних дескриптивистов – оказалась неудачной). Процедуры анализа текстов всегда совмещаются с экспликацией лингвистической интуиции носителя языка¹².

Все сказанное в МФЯ о роли контекста, о диалогичности речи¹³, очень важно и интересно. Однако всё это не отменяет сущностей, моделируемых в словарях и грамматиках. Существует некоторый набор первичных единиц (как правило, слов), хранимых в мозгу и отождествляемых в процессе восприятия, существуют механизмы построения высказываний из таких единиц (или уже существующих их блоков), существуют механизмы восприятия и извлечения из текстов информации через отождествления таких единиц и их блоков. Объективность всего этого подтверждается данными афазий (подробнее см. нашу публикацию [Алпатов 1982]). Речевые процессы не сводятся только к процессу построения высказываний и отождествления языковых единиц; в частности, несомненно значение процессов актуализации, правил построения связного текста, ведения диалога и т.д. Однако и этот как бы "нижний этаж" процесса объективно существует и в этом смысле можно говорить об объективности существования языка. Этот "нижний этаж" в наименьшей степени осознается говорящим и слушающим, но он составляет основу всего остального.

Любой "абстрактный объективизм" начиная с александрийцев и кончая структурализмом ограничивает объект исследования изучением указанного "нижнего этажа", причем, как правило, не полностью: мы уже отмечали, что вся европейская традиция ориентирована на анализ, на моделирование действий слушающего. До Ф. де Соссюра однако такая позиция проводилась имплицитно и неосознанно. Введение же понятия языка в соссюровском смысле дало возможность осознанно и достаточно строго установить рамки того, чем занимается лингвистика. Недаром противопоставление

¹² Это может быть интуиция самого лингвиста, если он носитель данного языка, может быть (скажем, при описании мертвого языка) его же интуиция, переносимая по аналогии на другой язык, но может быть и интуиция другого человека – информанта.

¹³ Отметим, в частности, такое положение МФЯ: "Контексты употребления одного и того же слова часто противоречат друг другу. Классическим случаем такого противостояния контекстов одного и того же слова являются реплики диалога... Всякое реальное высказывание в той или иной степени, в той или иной форме в чем-то соглашается или что-то отрицает. Контексты... находятся в состоянии напряженного и непрерывного взаимодействия и борьбы. Это изменение ценностного акцента слова в разных контекстах совершенно не учитывается лингвистикой и не находит себе никакого отражения в учении о единстве значения" (с. 88). Следует указать на явную перекличку указанной концепции с идеями писавшейся одновременно книги М.М. Бахтина [Бахтин 1929], а также тот факт, что данные положения уже есть в отчете В.Н. Волошинова вне связи с критикой "объективизма".

языка и речи (в отличие от противопоставления синхронии и диахронии) было сразу принято почти всеми лингвистами, так или иначе воспринявшими идеи Ф. де Соссюра. Некоторые из них (пражцы, Ш. Балли, у нас Е.Д. Поливанов) выходили за рамки изучения языка в сосюрсовском смысле, но, с другой стороны, проявлялась и тенденция еще более ограничить рамки лингвистики, нашедшая отражение в антименталистских концепциях дескриптивизма и их крайнем выражении – дешифровочном подходе и отказе от значения.

По крайней мере, в одном месте МФЯ можно увидеть признание допустимости сознательного ограничения объекта лингвистического исследования: "Языковая форма является лишь абстрактно выделенным моментом динамического целого речевого выступления – высказывания. В кругу определенных лингвистических заданий такая абстракция является, конечно, совершенно правомерной. Однако на почве абстрактного объективизма языковая форма субстанциализируется, становится как бы реально выделяемым элементом, способным на собственное изолированное историческое существование" (с. 86). Но в целом МФЯ свойствен явно максималистский подход. Еще в самом начале второй части книги подчеркивается, что язык представляет собой "сложный, многосоставный комплекс", имеющий физический, физиологический, психологический компоненты, но который для понимания его "души" должен быть еще включен "в гораздо более широкий и объемлющий его комплекс – в единую сферу организованного социального общения" (с. 51).

По сути все серьезные обвинения по адресу структурализма сводились к одному: в рамках структурализма нельзя ответить на ряд вопросов. И большинство этих вопросов можно свести к одному большому: вопросу о "человеческом факторе" в языке. Ни структуралисты, ни их предшественники-"традиционалисты" не могли ничего сказать о том, как функционирует и как развивается язык в человеческом обществе. Однако на эти вопросы сколько-нибудь серьезно можно отвечать лишь тогда, когда уже есть тот или иной ответ на еще один вопрос: как устроен язык. Структуралисты сознательно сосредоточились именно на этом вопросе, всё остальное они либо оставляли на потом (Ф. де Соссюр включил в план своего курса тему "Лингвистика речи", но так и не прочел ее), либо передавали на рассмотрение антропологии и прочих наук, отличных от лингвистики.

В истории самых разных наук бывают как периоды резкого расширения объекта исследования, так и периоды сосредоточения на более узких, но и более четко поставленных проблемах. 20-е гг. XX в. для лингвистики были периодом второго типа, хотя, конечно, не все были согласны с этим. Но в результате такого ограничения наука о языке получила теорию оппозиций, концепцию дифференциальных признаков, дистрибуционный анализ и многое другое, без чего мы уже не можем себе представить эту науку сейчас, какими бы устаревшими ни казались многие методологические предубеждения структуралистов. В МФЯ верно отмечены многие недостатки сосюррианства, но полное его отрицание (или даже ограничение его применимости изучением мертвых языков) оказалось исторически непродуктивным. (В 1929 г. время еще требовало движения в сторону структурного подхода.)

Преобладающему "абстрактному объективизму" вполне правомерно противопоставлен "индивидуалистический субъективизм". В книге дан лишь очень беглый исторический его анализ, в основном речь идет о позднем его этапе, связанном с именами К. Фосслера и его последователей, а также Б. Кроче. В отличие от предыдущего данное направление оценивается во многом положительно: "Индивидуалистический субъективизм прав в том, что единичные высказывания являются действительно конкретной реальностью языка и что им принадлежит творческое значение в языке... Совершенно прав индивидуалистический субъективизм в том, что нельзя разрывать языковую форму и ее идеологическое наполнение. Всякое слово идеологично и всякое применение языка – связано с идеологическим изменением" (с. 103).

Главные претензии МФЯ к "индивидуалистическому субъективизму" не в том, что

это "субъективизм", а в том, что он "индивидуалистичен". "Индивидуалистический субъективизм не прав в том, что он игнорирует и не понимает социальной природы высказывания и пытается вывести его из внутреннего мира говорящего как выражение этого внутреннего мира... Не прав индивидуалистический субъективизм в том, что ... идеологическое наполнение слова он также выводит из условий индивидуальной психики. Не прав индивидуалистический субъективизм и в том, что он, как и абстрактный объективизм, исходит из монологического высказывания" (с. 103). Отмечено, однако, что в некоторых работах Л. Шпитцера уже начато исследование проблемы диалога, тем самым появляется "более правильное понимание речевого взаимодействия" (с. 103). Если предыдущая глава книги почти целиком полемична, то глава, посвященная критике данного направления, большей частью посвящена изложению позитивных идей о социальной природе высказывания и диалоге.

Интересно сопоставить также оценку школы К. Фосслера в последней части книги: "Очень часто можно услышать обвинение Фосслера и фосслерианцев в том, что они больше занимаются вопросами стилистики, чем лингвистикой в строгом смысле слова. В действительности, школа Фосслера интересуется вопросами пограничными, поняв их методологическое и эвристическое значение, и в этом мы усматриваем огромные преимущества этой школы. Беда в том, что в объяснении этих явлений фосслерианцы, как мы знаем, на первый план выдвигают субъективно психологические факторы и индивидуально-стилистические задания. Этим иногда язык прямо превращается в игральное индивидуального вкуса" (с. 136). Ср. находящуюся здесь же (с. 137–140) весьма резкую оценку взглядов на косвенную речь "абстрактного объективиста" А.М. Пешковского¹⁴.

Важно указать на то, что преимущества школы К. Фосслера заключается в занятии "пограничными вопросами" между лингвистикой и другими науками, в частности, литературоведением. Именно "пограничные вопросы" и исключили на несколько десятилетий из актуальной лингвистической тематики структуралисты (ср. впрочем интерес пражцев к стилистике и поэтике). В основном "пограничные вопросы" как раз и представляют собой предмет позитивной части МФЯ. Речь идет о проблемах, находящихся на границе лингвистики и философии, лингвистики и социологии, лингвистики и литературоведения.

При большой ценности многих идей книги все-таки следует отметить, что они в большинстве даны достаточно эскизно и пунктирно. Важный пример – страницы, посвященные структуре высказывания, где выделены многие важные проблемы, в частности, понятие темы, однако они лишь намечены. И дело тут не только в ограниченном объеме книги и, как можно видеть из отчета В.Н. Волошинова, в ограниченном времени написания ее собственно лингвистической части. Книга МФЯ была пионерской, во многом явившейся не ко времени (не только в своей стране, о чем сейчас много пишут, но и с точки зрения развития мировой лингвистики). Книга была, казалось бы, прочно забыта вскоре после написания кроме всего прочего и потому, что развитие лингвистики как на Западе, так и в СССР шло вплоть до 60-х гг. не в том направлении, о котором говорилось в МФЯ. У "абстрактного объективизма" еще много было резервов развития, многое в его рамках еще предстояло решить, задача обособления лингвистики от других наук, выработки последовательно лингвистических подходов еще оставалась более важной, чем задача интеграции лингвистики с другими гуманитарными науками.

Любопытна написанная в 40-е гг. статья Г.О. Винокура [Винокур 1957], где разбирается полемика между основателем дескриптивизма Л. Блумфилдом и видным представителем фосслеровской школы Л. Шпитцером. Как известно, Г.О. Винокур совмещал в себе лингвиста и литературоведа, по идеям был достаточно далек от

¹⁴ Если принять версию о том, что две первые части книги написаны М.М. Бахтиным, а третья В.Н. Волошиновым, то надо сказать, что лингвистические подходы в разных частях книги вполне совпадают.

дескриптивизма, поэтому можно было бы предположить, что позиция Л. Шпитцера ему ближе. Однако, критикуя Л. Блумфилда, Г.О. Винокур в итоге считает его точку зрения более приемлемой уже потому, что она является лингвистической, тогда как Л. Шпитцер выходит за пределы лингвистики вообще. Если структурализм в разных модификациях продолжал развиваться и приобрел мировой характер, то школа К. Фосслера постепенно сошла на нет, хотя ее влияние испытали некоторые лингвисты, в том числе и у нас (Р.А. Будагов); продолжение той же традиции можно видеть в неогумбольдтианстве, но оно все же в своем развитии не вышло за пределы германо-язычных стран.

Из предполагаемых авторов МФЯ В.Н. Волошинов рано умер, а М.М. Бахтин более не занимался специально лингвистикой. Эпизодические его высказывания на этот счет свидетельствуют о некотором изменении его позиции. "Предметом лингвистики является только материал, только средства речевого общения, а не само речевое общение" [Бахтин 1979: 297]. "Лингвистика изучает сам "язык" с его специфической логикой в его общности, как то, что делает возможным диалогическое общение, от самих же диалогических отношений лингвистика последовательно отвлекается" [Бахтин 1979а: 212] (оба высказывания относятся к концу 50-х – началу 60-х гг.). С этими словами вполне могли бы согласиться и "абстрактные объективисты", тогда как в МФЯ говорилось как раз противоположное.

Но как раз в те же годы лингвистическая парадигма вновь стала меняться, а представления о языке "в себе и для себя" как единственном объекте лингвистики стали подвергаться сомнению. Новый этап в развитии науки о языке начался с постановки новых задач: "Возникает необходимость обратиться к некоторому совершенно новому принципу... Этот новый принцип имеет "творческий аспект", который яснее всего наблюдается в том, что может быть названо "творческим аспектом использования языка", т.е. специфически человеческая способность выражать новые мысли и понимать совершенно новые выражения мысли на основе "установленного языка", языка, который является продуктом культуры и подчиняется законам и принципам, частью характерным именно для него, а частью являющимся отражением общих свойств мышления. Эти законы и принципы... не могут быть сформулированы в терминах даже самой усовершенствованной и развитой системы понятий, относящихся к анализу поведения и взаимодействия физических тел, равно как они не могут быть реализованы даже самым сложным автоматом" [Хомский 1972]. Н. Хомский вслед за картезианцами подчеркивал, что "нормальное использование языка носит новаторский характер в том смысле, что многое из того, что мы говорим в ходе нормального использования языка, является совершенно новым, а не повторением чего-либо слышанного раньше, и даже не является чем-либо "подобным" по "модели" (в любом подходящем смысле слов "подобный" и "модель") тем предложениям или связным текстам, которые мы слышали в прошлом" [Хомский 1972: 23]. "Убогой и совершенно неадекватной концепции языка, выраженной Уитни и Соссюром" [Хомский 1972: 32], Н. Хомский противопоставил, наряду с идеями картезианских грамматиков XVII в., концепцию В. фон Гумбольдта. Н. Хомский поставил вопрос о возврате к осмыслению "классических проблем, интересовавших таких мыслителей, как Арно и Гумбольдт" (там же).

Конечно, Н. Хомский во многом исходил из совершенно иной интеллектуальной традиции, чем авторы МФЯ, и интересовали его иные проблемы. Не говоря о многом другом, к Н. Хомскому вполне применимы основные претензии МФЯ к "индивидуалистическому субъективизму". Для Н. Хомского действительно все выводится, если угодно, из "внутреннего мира говорящего": он строит гипотезы об индивидуальном мышлении, об индивидуальном процессе говорения, пытается моделировать этот процесс; о социальных процессах и о роли диалога у Н. Хомского речь почти не идет (единственный случай, когда Н. Хомский об этом вспоминает, связан с процессами отлаживания врожденного языкового механизма у ребенка: в данном механизме заложены возможности говорить на любом языке, но в результате общения с окру-

жающими вырабатывается способность говорить только одним определенным образом). Однако, как нам кажется, при явном отсутствии прямого влияния в приведенных выше цитатах из Н. Хомского можно видеть переключки с МФЯ (имеющие, безусловно, общий исходный момент: гумбольдтианскую традицию).

Но главное даже не в прямых параллелях. "Хомскианская революция" сняла методологические ограничения, соблюдавшиеся в период господства "абстрактного объективизма". При этом, безусловно, все положительное, достигнутое структурной лингвистикой, было сохранено. Если максималистская программа МФЯ не замечала этого положительного вклада, то генеративисты вполне это учитывали, указывая в то же время на ограниченную применимость этого вклада: "Достижение структуралистской фонологии состояло в иллюстрации того, что фонологические правила огромного множества языков применяются к классам элементов, которые могут быть просто охарактеризованы в терминах этих признаков, что исторические изменения действуют на такие классы единообразным способом и что организация признаков играет базисную роль в использовании и усвоении языка. Это было открытием величайшего значения, и оно обеспечивает фундамент для большей части современной лингвистики. Но если мы отвлечемся от определенного универсального набора признаков и от систем правил, в которых эти признаки функционируют, остается очень мало существенного. Более того, все в большей и большей степени современные работы по фонологии демонстрируют, что реальная содержательность фонологических систем кроется не в структурных моделях фонем, а в сложных системах правил, посредством которых эти модели строятся, модифицируются и детализируются" [Хомский 1972: 93].

Поначалу хомскианская и послехомскианская лингвистика развивалась весьма далеко от проблем, волновавших авторов МФЯ. Видимо, действительно, ограничения динамического подхода к языку моделированием индивидуального механизма говорения и слушания было столь же необходимо на некотором этапе, как до того ограничение лингвистики структуралистской проблематикой. Однако дальнейшее развитие науки о языке привело к тому, что и "социальная природа высказывания", и "речевое взаимодействие" также стали предметом лингвистического исследования. Лингвистика текста, прагматика, изучение дискурса – все это имеет прямое отношение к проблематике МФЯ. Не случайно и то, что социолингвистика, мало продвинувшаяся после пионерских работ советских ученых 20–30-х гг., стала активно развиваться, прежде всего в США, именно после "хомскианской революции".

МФЯ – достаточно типичный пример книги, выглядевшей маргинальной и даже несколько устаревшей в момент ее появления: она была направлена не только против тенденций, набиравших силу в момент ее написания в советском языкознании, но и в еще большей степени против господствующих тенденций мировой лингвистики (надежды авторов МФЯ на перспективность фоссерианства и на преодоление им недостатков не оправдались). Однако развитие науки идет по спирали и на новом витке оказалось, что в книге, пусть схематично и бегло, но намечались контуры тех проблем, к которым наука стала подступаться спустя 50–70 лет. И поэтому сейчас книга закономерно вызывает больший резонанс, чем в момент появления.

В заключение кратко еще об одной проблеме, вынесенной в заголовок книги: о марксизме. Как мы уже отмечали, не только марристы, но вообще все авторы, писавшие о марксизме в языкознании у нас, не признали книгу "своей" (или проигнорировали, как Е.Д. Поливанов). Сейчас вопрос об отношении МФЯ к марксизму впервые (по крайней мере, в нашей стране) стал дискутироваться. С одной стороны, В.Л. Махлин выдвинул гипотезу о "двойной маске" М.М. Бахтина: выступлении под маской чужого автора и чужого, враждебного учения; по мнению В.Л. Махлина, "весь текст МФЯ" является «не чем иным, как карнавальным переворачиванием официального языка, на котором удастся сказать то, чего сам этот "язык" – марксизм как мировоззрение – никогда не говорил и никогда не сможет сказать, не перестав быть тем, что составляет так называемую "душу" марксизма» [Махлин 1993]. Противо-

положная точка зрения высказана А.А. Леонтьевым: «В лингвистике к марксизму близко стояли М.М. Бахтин ("Марксизм и философия языка"), Е.Д. Поливанов и др.» [Леонтьев 1994: 36].

Между тем в рассмотренной нами проблематике нет ничего ни специфически марксистского, ни антимарксистского. Вообще, если посмотреть на вторую часть книги, прежде всего интересующую нас, то в ней мы не найдем ни упоминания о марксизме, ни марксистской проблематики (при любом понимании марксизма) кроме заглавия¹⁵. Обсуждаются проблемы теории языка, непосредственно с учением К. Маркса и Ф. Энгельса не связанные.

О марксизме речь идет главным образом в первой части работы, посвященной общефилософским, методологическим проблемам, которые составляют общеметодологическую базу для второй и третьей частей, но не определяют их проблематики. Говорить о "карнавальном переворачивании официального языка" применительно, скажем, к вполне серьезной полемике с соссюрианством нет никаких оснований.

Вообще о построении марксистской лингвистики в 20-е гг. говорили многие, причем с разных позиций: помимо МФЯ можно вспомнить Е.Д. Поливанова, Л.П. Якубинского¹⁶, несколько позже языкофронтонцев (не говорим о марризме, в котором марксизм был явно внешним и конъюнктурным). Но не случайно, что никто из них не создал сколько-нибудь развернутой теории языка, основанной на марксизме. Эти ученые либо ограничивались общими декларациями, либо дополняли методологические принципы марксизма иными идеями (например, Е.Д. Поливанов историологической концепцией Н.И. Кареева). Идея о построении какой-то особой марксистской науки, в принципе отличной от "буржуазной", была явно догматической, а применительно как раз к лингвистике была вполне определенно отвергнута И.В. Сталиным в известной брошюре 1950 г. Реально творческие поиски в этой области прекратились еще раньше. "Марксизмом" в языкознании сначала без должных оснований был провозглашен марризм, позднее – позитивистская по методологии лингвистика конца XIX – начала XX вв.¹⁷ (см. об этом [Звегинцев, 1989: 20]). Всерьез же о марксистском подходе думали лишь отдельные лингвисты, среди которых нельзя не назвать Т.П. Ломтева, интересовавшегося этими проблемами даже в 50–60-е гг. Само же развитие науки о языке не только на Западе, но и в СССР шло независимо от марксизма (речь, разумеется, не идет о политических взглядах тех или иных лингвистов)¹⁸.

Идеи В.Л. Махлина во многом подсказаны ретроспективным взглядом на судьбу М.М. Бахтина и на его научное наследие, включая "карнавальную" концепцию, разработанную позже написания МФЯ, в 30–40-е гг. В.Л. Махлин основывается на позднейших высказываниях М.М. Бахтина, который, согласно воспоминаниям С.Г. Бочарова, называл проблемы, вынесенные в заголовок книги, "неприятными добавлениями" [Бочаров 1993]. Но нельзя приравнивать взгляды М.М. Бахтина в 60–70-е гг. (к тому же после тюрьмы, ссылки, многолетнего неприятия) и в 20-е гг. (когда все это еще было впереди). Взгляды интеллигентов его поколения и воспи-

¹⁵ Для нас непривычно широкое использование термина "идеология", часто используемого как синоним термина "содержание", но такое употребление, совсем не соответствующее пониманию идеологии у классиков марксизма, тоже лишь дань времени.

¹⁶ Не исключена возможность влияния Л.П. Якубинского на авторов МФЯ. Сравнение отчета В.Н. Волюшинова с готовой книгой показывает значительную переработку текста именно в лингвистической части. Одной из причин изменений могли быть замечания при обсуждении отчета в ИЛАЗВ, где как раз работал Л.П. Якубинский.

¹⁷ Аргументом в пользу этого было признание классиками марксизма успехов компаративистики и собственные компаративистские занятия Ф. Энгельса. Но для К. Маркса и Ф. Энгельса позитивные результаты языкознания XIX в. были такими же достижениями передовой науки, как дарвинизм или клеточная теория, которые марксистская философия должна учитывать, но которые никак из нее не следуют.

¹⁸ Любопытно высказывание Н. Хомского в письме японскому лингвисту Т. Окубо, советовавшему учитывать идеи Г. Гегеля и К. Маркса: "Я, конечно, согласен с тем, что это выдающиеся фигуры в истории мысли. Но я не знаю, что они сделали в той области науки, которой я занимаюсь. Если Вы мне подскажете, буду Вам благодарен" [Chomsky 1978: 77].

тания нередко менялись со временем¹⁹. А об ориентации В.Н. Волошинова мы мало что знаем.

Тем не менее говорить о марксизме как "добавлении" к концепции МФЯ ("приятном" или "неприятном", сказать трудно), вероятно, можно. В то время, безусловно, говорить о методологических вопросах безотносительно к марксизму было трудно. В области же языкознания, особенно в Ленинграде, к 1928 г. нельзя было говорить о методологических вопросах и без упоминания имени акад. Н.Я. Марра. Вопрос об отношении МФЯ к марризму может несколько прояснить и вопрос об отношении к марксизму в этой книге.

В отчете В.Н. Волошинова вообще имя Марра не упомянуто и можно предполагать, что при обсуждении отчета встал вопрос о "неучете" его концепций. В окончательном варианте имя академика упомянуто несколько раз и неизменно положительно; автор французской работы о марризме даже отнес на этом основании МФЯ к марристской литературе [L'Hermite 1987: 28], что, разумеется, не так. Но нетрудно убедиться в том, что упоминания Марра значения для авторской концепции не имеют и появляются там, где возможно какое-то сходство или совпадение взглядов МФЯ и Марра. Общим компонентом, безусловно, было критическое отношение к современной западной и отечественной науке о языке. И именно в связи с этим впервые в книге упомянут Марр, у которого найдена сходная с МФЯ идея: отрицание филологического подхода, занятий мертвыми, а не живыми языками (с. 80–81). Затем, когда речь идет о проблеме чужого слова, упомянута марровская концепция скрещения языков (с. 83–84), в чем усматривается "значение чужого слова для проблемы происхождения языка и его эволюции" (с. 83), но тут же отмечено, что "сами эти проблемы выходят за пределы нашей работы" (с. 83–84). И еще в начале главы о теме высказывания говорится о том, что в первобытном мышлении слово и тема совпадали, в связи с этим снова вспоминается и цитируется Марр, писавший о первобытном мышлении (с. 111–112). И все.

Ясно, что здесь нет ни марризма, ни антимарризма, а есть попытка снять обвинения в "неучете" идей Марра, но в то же время и как-то найти что-то полезное в идеях авторитетнейшего в то время ученого. К 1928 г. Н.Я. Марр безусловно пользовался значительным авторитетом в научных кругах Ленинграда. Особенно его уважали как главного специалиста в области "языковой доистории", где его высказывания принимались на веру специалистами в иных областях науки. В то же время МФЯ, нигде не полемизируя с Марром, определенно отказывает ему в марксизме, заявляя: "До сих пор по философии языка нет еще ни одной марксистской работы" (с. 7)²⁰. Этого, видимо, было достаточно для того, чтобы марристы отнеслись к книге резко отрицательно.

Вполне аналогичным могло быть и отношение авторов МФЯ к учению К. Маркса и Ф. Энгельса. В отличие от вопроса о "новом учении о языке" марксистская проблематика появилась в работе с самого начала: уже отчет В.Н. Волошинова содержит почти все упоминания марксизма, вошедшие в книгу. Акцентирование вопроса о марксизме, по сути занимающего не столь уж большое место в книге, могло казаться полезным с точки зрения "проходимости" книги (действительно, напечатанной очень быстро). Но нет оснований отрицать того, что и здесь авторы книги могли искать и

¹⁹ Показательна, хотя, конечно, не доказательна эволюция взглядов близкого друга М.М. Бахтина и В.Н. Волошинова – М.И. Катана, за 1917–1937 гг. прошедшего два периода приятия и два периода неприятия советского строя и его идеологии, причем на конец 20-х гг. как раз пришлось его сближение с системой и с марксизмом [Каган 1992].

²⁰ "Единственной марксистской работой, касающейся языка" (с. 7), но посвященной иной проблематике, названа в МФЯ ныне забытая книга о происхождении языка, имя автора которой сейчас может вызвать удивление: это И.И. Презент, известный как "теоретик" лысенковщины. Это был человек, особо склонный к созданию "марксистской науки" в любой сфере. В языкознании он потерпел неудачу, выступив в качестве конкурента Марра, не принятого господствующей школой. В биологии ему удалось добиться большего, но и там в итоге потерпел неудачу.

находить точки соприкосновения с собственной концепцией. Недовольство наукой о языке, рассматривавшей свой объект в статике, как сумму застывших правил, суживающей объект исследования, отрывавшей язык от говорящего человека и от общества, вполне могло находить опору в марксизме с его диалектикой, широким и всеобъемлющим подходом к явлениям при особом интересе к социальной сфере. Марксизмом интересовались и продолжают интересоваться многие, и не только в нашей стране, хотя, конечно, общественная обстановка в СССР в 20-е гг. особо способствовала этому (насилованное же насаждение марксизма, а точнее, квазимарксизма, как "единственно верного учения", в 1928 г. только начиналось). Главный идейный противник МФЯ все-таки не марксизм, а позитивизм и, более конкретно, позитивистская лингвистика, а марксизм тогда многими воспринимался как альтернатива позитивизму (что вполне справедливо). Это вовсе не означает, что проблематика книги была марксистской и определялась марксизмом.

Важно подчеркнуть именно лингвистический аспект книги, до сих пор остающийся в тени, ее пионерский характер, выдвижение идей, созвучных современному этапу в развитии науки о языке. Особенно хочется вспомнить об этом сейчас, когда в 1994 г. исполнилось 100 лет со дня рождения В.Н. Волошинова, а в ноябре 1995 г. исполняется 100 лет со дня рождения М.М. Бахтина.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алпатов В.М. 1982 – О двух подходах к выделению единиц языка // ВЯ. 1982. № 6.
 Алпатов В.М. 1983 – Об антропоцентричном и системоцентричном подходах к языку // ВЯ. 1993. № 3.
 Бахтин М.М. 1929 – Проблемы творчества Достоевского. М. – Л., 1929.
 Бахтин М.М. 1979 – Эстетика словесного творчества. М., 1979.
 Бахтин М.М. 1979а – Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979.
 Бочаров С.Г. 1993 – Об одном разговоре и вокруг него // Новое литературное обозрение. 1993. № 2.
 Винокур Г.О. 1957 – Эпизод идейной борьбы в западной лингвистике // ВЯ. 1957. № 2.
 Звегинцев В.А. 1960 – История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М., 1960.
 Звегинцев В.А. 1989 – Что происходило в советской науке о языке // Вестник АН СССР. 1989. № 2.
 Каган Ю.М. 1992 – О старых бумагах из семейного архива (М.М. Бахтин и М.И. Каган) // Диалог. Карнавал. Хронотоп. Витебск, 1992. № 1.
 Киклевич Л.К. 1993 – Язык – личность – диалог (некоторые экстраполяции социоцентрической концепции М.М. Бахтина) // Диалог. Карнавал. Хронотоп. Витебск, 1993. № 2.
 Леонтьев А.А. 1994 – Была ли господствующая идеология марксистской // Из истории отечественной филологической науки. 20–50-е годы. Тезисы докладов конференции. М., 1994.
 Ломтев Т.П. 1932 – К вопросу о большевистской партийности в языке Ленина // Литература и язык в политехнической школе. 1932. № 1.
 ЛУ – Литературная учеба. 1992. № 5.
 Махлин В.Л. 1993 – Комментарий // Бахтин под маской. Маска третья. Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. М., 1993.
 Плетнер О.В., Поливанов Е.Д. 1930 – Грамматика японского разговорного языка. М., 1930.
 ПБКЯ 1932 – Против буржуазной контрабанды в языкознании. Л., 1932.
 Соссюр Ф. де 1977 – Труды по языкознанию. М., 1977.
 Смирницкий А.И. 1954 – Объективность существования языка. М., 1954.
 Токиэда Мотоки – Основы японского языкознания // Языкознание в Японии. М., 1983.
 ФПФ 1978 – Федот Петрович Филин. Библиография ученых СССР. Серия литературы и языка. Вып. 12. М., 1978.
 Хомский Н. 1972 – Язык и мышление. М., 1972.
 AL 1939 – Acta linguistica. V. 1. Fac. I. Copenhagen. 1939.
 Chomsky 1978 – Гэнго. Токио, 1978. № 9.
 Harris Z.S. 1960 – Structural linguistics. Chicago, 1960.
 L'Hermite 1987 – Marr. Marrisme. Marristes. Une page de l'histoire de la linguistique soviétique. Paris, 1987.
 Mathesius V. 1947. – Kam jsme dospěli v jazykozpytu // Čeština a obecný jazykozpyt. Praha, 1947.